главу «Онегина». В условиях цензурно-полицейского террора после июльской революции 1830 года даже случайные следы произведения с декабристской тематикой могли навлечь на поэта тяжелые административные репрессии.

Однако он не сразу отказался от начатой вещи. По крайней мере о какой-то попытке нейтрализации ее фабулы свидетельствуют зачеркнутые в тексте повести прямые ссылки на Черниговский полк, но без этих обозначений произведение, очевидно, лишалось своего стержня, и переработка его была прекращена. В середине 1831 г. Пушкин рассматривал сохранившиеся листы повести 1829 г. уже только как сырой материал и, подготовляя к печати «Повести Белкина», почти без исправлений перенес в написанного предыдущей осенью «Станционного смотрителя» целую страницу из своей брошенной вещи — описание лубочных иллюстраций к легенде о блудном сыне...» [3, с. 769].

Следует, очевидно, согласиться с Ю. Г. Оксманом, что в «Записках молодого человека» предполагался рассказ о декабрьском восстании и что этот замысел не был осуществлен по цензурным соображениям. Однако в комментариях Ю. Г. Оксмана оставлены без внимания очень существенные моменты, раскрывающие более тесные связи между брошенными «Записками» и завершенной повестью.

В куске, перенесенном из «Записок» в «Станционного смотрителя» (по-видимому, не в «написанном предыдущей осенью», а в самом процессе его написания), в роли проезжего, рассматривающего историю блудного сына, прапорщик — автор «Записок» заменен рассказчиком повести (титулярным советником А. Г. Н.), прямого отношения к фабуле повести не имеющим. Это позволяет нам задуматься над вопросом: предполагал ли Пушкин сделать «молодого человека» героем его записок или только их рассказчиком, есть ли это «повесть о прапорщике Черниговского полка» или повесть, *рассказанная* этим прапорщиком?

Облик этого молодого человека, как он рисуется в начатых записках, говорит в пользу второго предположения. Он не соответствует представлениям о герое, он не «бунтарь» и по сравнению с типичными образами декабристов, действительно, социально и интеллектуально снижен. «На страницы повести юноша приходит не будучи членом тайного общества»,— отмечает Н. Н. Петрунина. Вслед за Н. Я. Эйдельманом она указывает также, что пушкинский прапорщик едет в Васильков не в декабре, как Ипполит Муравьев-Апостол, а в мае, более чем за полгода до восстания. «Тем самым перед художником открывалась возможность проследить, что́ привело молодого офицера в ряды заговорщиков» [4, с. 71—72] (ср. [5, с. 220—221; 6, с. 120]). Однако в тексте начатой повести нет данных об использовании такой возможности.

Начало «Записок» показывает, что предшествующее развитие личности их автора не привлекает внимания Пушкина. О дальнейшей судьбе этого прапорщика мы можем судить по тому, что его записки датируются предположительно 1828—1830 гг. Если он пишет свои записки через три-четыре года после восстания, то, очевидно, он не застрелился, как Ипполит, и не был повешен, как его брат Сергей. Скорее всего он не принадлежал к активным участникам восстания, осужденным на многолетнюю каторгу, и перелом в его судьбе свелся к тому, что он, как и весь Черниговский полк, был сослан на Кавказ. Основной интерес в его записках должен был заключаться не в его личности, а в рассказанной им повести.

О содержании этой повести мы можем судить по плану, записанному в той же черновой рукописи, где сохранилось начало «Записок». Трудно согласиться с Б. В. Томашевским в том, что «этот план говорит только о начальных эпизодах» [7, с. 790].

План делится на три части, последняя из которых состоит из одного слова: «Родина». Вероятность того, что здесь имеется в виду декабрьское восстание, достаточно велика. Но этому слову непосредственно предшествует завершающее второй раздел плана слово «Любовь». Таким образом, кроме декабристской темы, в сюжете «Записок» предполагалась любовная история. И если, сочиняя «Стан-